

## ПУШКИНСКИЙ ЗАМЫСЕЛ СТАТЬИ О БАРАТЫНСКОМ

Вопрос об отношении Пушкина к творчеству Баратынского изучен еще недостаточно. Пушкинские оценки, как правило, вспоминаются исследователями, пишущими о Баратынском, по почти не вспоминаются пишущими о Пушкине (редкие исключения встречаются в основном в пушкинистике тридцатых годов<sup>1</sup>). Разумеется, в двух этих случаях должны ставиться различные акценты, должен привлекаться различный литературный контекст.

Баратынский — один из центральных героев в пушкинском критическом наследии. Пушкин относился к нему с особым вниманием, видел в нем своего крупнейшего литературного современника. Доказательством тому служат — помимо многочисленных упоминаний о поэте и его произведениях в письмах — три дошедших до нас критических фрагмента. Они тщательно изучены в текстологическом отношении,<sup>2</sup> но не рассмотрены в своей совокупности с точки зрения проблематики, жанра, композиции. Между тем без такого анализа невозможно понять, были ли обращения Пушкина-критика к творчеству Баратынского случайными, эпизодическими, или же они имели концептуальный характер; что дают они для понимания собственно пушкинских творческих принципов, его литературной и общественной позиции; каков, наконец, был общий замысел Пушкина.

Современники были склонны ставить рядом имена Пушкина и Баратынского. Когда в 1827 г. Вяземский упомянул в одной из статей о «молодых первоклассных поэтах наших», он назвал только два этих имени.<sup>3</sup> Воспринимали их и как соперников. В 1831 г. Языков пишет брату по поводу «Повестей Белкина»: «Баратынский тоже пишет повести в прозе: его будут гораздо лучше, он вообще мастер рассказывать».<sup>4</sup>

Да и сам Пушкин в переписке не раз сравнивает Баратынского с собой. Сравнение в этих случаях обычно дается на уровне отдельных произведений: «Баратынский — прелесть и чудо, *Признание* — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий» (XIII, 84): «Пришли же мне Эду Баратынскую. Ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду» (XIII, 127). Подобные сопоставления возникают в пушкинских письмах двадцатых годов неоднократно.

Л. Г. Фризман объясняет это общностью идейных позиций и творческих исканий двух поэтов во второй половине двадцатых годов. «Создание пушкинских статей о Баратынском (1827—1830), — пишет исследователь, — не случайно совпало с периодом, когда в критике наметилось охлаждение к обоим поэтам. Poleмичность статей Пушкина, их взволнованность и страстность объясняются тем, что, отстаивая Баратынского, Пушкин отстаивал не одного писателя, а целую литературную платформу, свои собственные позиции в литературе».<sup>5</sup> В самом деле, общность обнаруживается на уровне не только отдельных произведений, но и творческих судеб.

### 1

В 1827 г. вышла в свет книга «Стихотворения Евгения Баратынского». Познакомившись с ней, Пушкин в августе того же года начинает писать рецензию, предназначавшуюся, как принято считать, для «Московского вестника»: на этот журнал, только что основанный, Пушкин поначалу возлагал большие надежды, собирался сотрудничать с ним. Рецензия, однако, осталась незаконченной.<sup>6</sup>

В первых абзацах складывается образ поэта — «первоклассного», но, «(быть может) еще недовольно оцененного своими соотечественниками» (XI, 50). Так в самом начале рецензии проступает пушкинская мысль о непонимании настоящего поэта публикой, критикой — мысль,

воплощенная в эту же пору в стихотворении «Поэт и толпа». Переключка рецензии с лирикой приоткрывает особый, личный ее характер.

Пушкинская фраза о «недооценке» может быть прокомментирована конкретным эпизодом литературной жизни того времени. В 1826 г. из-под пера Пушкина выходит пятистишие, обращенное к Баратынскому — автору поэмы «Эда»:

Стих каждый в повести твоей  
Звучит и блещет, как червонец.  
Твоя Чухоночка, ей-ей,  
Гречанок Байрона милей,  
А твой Зоил прямой чухонец.  
(III, 11)

В последнем стихе говорится о Ф. В. Булгарине, напечатавшем в «Северной пчеле» (1826, 16 февраля. № 20) недоброжелательную рецензию на издание поэм Баратынского. «Пиры» рецензент назвал «приятной литературной игрушкой», а в «Эде» не нашел «ни одной сцены занимательной, ни одного положения поразительного», отметил «скудость предмета» поэмы и счел стихи и язык ее «не отличными».

Булгарин вскоре станет злейшим врагом Пушкина, но в 1826—1827 гг. открытая литературная война поэту еще не объявлена. Можно было бы счесть пушкинскую поэтическую реплику «странным сближением», но ничего странного здесь в сущности нет. После декабря 1825 г. Булгарин заметно «поправел»; проявились черты его политического, духовного ренегатства. Нападающий на Баратынского по всей логике вещей должен был рано или поздно напасть и на Пушкина, хотя в рецензии на поэмы Баратынского Пушкин был упомянут с положительной стороны как автор поэм, исполненных «пиитической, возвышенной, пленительной красоты». Похвала, однако, не могла обмануть поэта. «Хотя в ранних статьях Булгарина, — замечает А. А. Гозеннуд, — нет ничего похожего на пасквили 1830 г., и в 20-х годах льстивые похвалы Пушкину содержали толику яда. Булгарин не пропускал случая задеть пушкинскую литературную группу, а косвенно и самого Пушкина». <sup>7</sup> Так и в нашем случае: похвала Пушкину рядом с нападками на его товарища выглядит весьма двусмысленно.

Вот еще одна параллель: «Первые произ<ведения> Баратынского, — пишет Пушкин, — обратили на него внимание. — Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную» (XI, 50). Известно, как восторженно был встречен поэтический дебют самого Пушкина, как высоко оценили его юный талант «знатоки» (Державин, Карамзин, Жуковский), мнение которых поэт вспомнит позже в известных строках восьмой главы «Онегина».

«Сие преждевременное развитие всех поэтических способностей, — продолжает рецензент, — может быть, зависело от обстоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне выполнено поэтом столь блистательным образом» (XI, 50).

О каких обстоятельствах говорит Пушкин? Конечно, об исключении Баратынского из Пажеского корпуса, об уходе его на военную службу нижним чином. Баратынский прослужил в Финляндии несколько лет и смог оставить армию лишь в 1826 г., будучи произведенным в офицеры (1825).

В сентябре 1826 г. в Москву из ссылки возвращается Пушкин. Хронологически сроки военной службы Баратынского (1819—1826) и ссылки Пушкина (1820—1826) почти совпали. Пушкин, «всегда чрезвычайно внимательно относившийся к сближениям дат», <sup>8</sup> не мог этого не заметить: он вообще был склонен искать параллели своей судьбе гонимого (Овидий, Шенье и др.). Кстати, еще в 1822 г. в пушкинском послании «Баратынскому. Из Бессарабии» адресат прямо был назван «Овидием живым»:

Еще доныне тень Назона  
Дунайских ищет берегов;  
Она летит на сладкий зов  
Питомцев Муз и Аполлона,  
И с нею часто при луне  
Брожу вдоль берега крутого;  
Но, друг, обнять милее мне  
В тебе Овидия живого.

(II, 235)

Рецензия получает автобиографический подтекст. Но здесь разговор переходит в иное русло, в область собственно литературную, приобретает даже полемический характер: «Первые произв<едения> Баратынского были элегии и в этом роде он первенствует. Ныне вошло в моду порицать элегии — как в старину старались осмеять оды; но если вялые подража<тели> Ломоносова и Баратынского равно несносны, то из того еще не следует, что роды лирическ<ий> и элегическ<ий> должны быть исключены из разрядн<ых> книг поэтической олигархии» (XI, 50).<sup>9</sup>

Здесь легко узнаются мотивы полемики Пушкина с Кюхельбекером, выраженные также в заметке «О статьях Кюхельбекера в альманахе „Мнемозина”» (1825—1826) и четвертой главе «Онегина» (1827—1828). В статье Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) содержался призыв к Пушкину (и другим поэтам) «сбросить с себя поносные цепи немецкие» (речь шла о жанрах элегии и послания) и статью «русским».

Поэтому, вступаясь в своей рецензии за Баратынского — автора элегий, Пушкин вступается тем самым и за себя. И здесь уже не так важно, что сами Пушкин и Баратынский неоднозначно относились к элегическому жанру. «Избавь нас, Боже, | От элегических куку!» (II, 431), — писал Пушкин в эпиграмме «Соловей и кукушка» (1825). Прочитав эпиграмму, Баратынский заметил в письме к нему: «. . . как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом» (XIII, 254). Не знаем, действительно ли среди тех, в кого метил Пушкин, был и Баратынский. Но так или иначе в набросанной спустя два года рецензии никаких критических мотивов нет. Пушкин пишет об элегиях Баратынского с точки зрения общности литературных позиций, несмотря на различие самой элегической манеры двух поэтов.<sup>10</sup>

В последнем абзаце разговор становится вовсе «узкоспециальным», теоретическим, касается судьбы жанра элегии: «Да к тому же у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирической (чему в новейшие времена видим примеры у Гете)» (XI, 50). На этом рукопись обрывается.

Итак, сначала в рецензии были даны общие характеристики, затем автор перешел к теоретической проблеме. Но жанр рецензии требует обратиться наконец к анализу произведений, а до этого Пушкин как раз и не доходит, ибо ему важнее тема поэта, намечающиеся в подтексте параллели судеб двух художников. И как только он начал углубляться в историю элегического жанра, работа потеряла для него интерес, ибо от этого вопроса вернуться к прежней, столь важной для Пушкина теме было уже трудно.

Во второй раз Пушкин берется за перо с целью написать о Баратынском в 1828 г. Поводом послужило появление в альманахе «Северные цветы на 1828 год» отрывка из поэмы Баратынского «Бал». По-видимому, эта незавершенная работа, заметно превосходящая по объему рассмотренный выше текст, тоже предназначалась для «Московского вестника».

Новая работа Пушкина-критика развивает, дополняет положения, конспективно сформулированные в более ранней рецензии. Пушкин начинает с претензий к критике, раздающей незаслуженные комплименты, порой сравнивающей «бледное подражание <...> с бессм<ертными> произведениями Гете и Байрона» (XI, 74). По мнению автора, «истинный

талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малообдуманному решению записных Аристархов» (XI, 74). Эти размышления легко вписываются в контекст лирических высказываний Пушкина-поэта. Спустя два года он напишет в сонете «Поэту»: «Ты сам свой высший суд; | Всех строже оценить умеешь ты свой труд» (III, 223).»

После такого вступления критик переходит непосредственно к своему герою: «Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной благосклонно<стию> журналов. Оттого ли, что верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действуют на толпу, чем преувеличение (exageration) модной поэзии, потому <ли> что наш поэт некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда смиренной, — как бы то ни было, критики изъявляли в отношении к нему или недобросовестное равнодушие или даже неприязненное расположение» (XI, 74). Слова эти тоже можно спроецировать на творческую судьбу самого Пушкина. Хотя в молодости поэта встретили шумные похвалы, со временем, во второй половине двадцатых годов, отношение критики к нему становилось все более настороженным. В это время складывается лагерь литературных противников Пушкина: Булгарин, Греч, Полевой. Обогнавший свое время художник объективно не мог надеяться на общее понимание.

Перечислив отрицательные журнальные отклики на поэму Баратынского «Эда» (среди которых, кстати, вновь упоминается «неприличная статейка» Булгарина; в эту пору Булгарин осознается уже как общий литературный недруг), Пушкин замечает: «Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался — последние его произведения являются плодами зрелого таланта» (XI, 74). Здесь как бы предвосхищены пушкинские мысли, настроения последних лет жизни, когда поэт все больше будет задумываться о независимости, «самостоянии человека», художника. Мотив «спокойного совершенствования» «зрелого таланта» пройдет через ряд пушкинских произведений тридцатых годов: «Александр Радищев» («глупец один не изменяется»), «Вольтер» («независимость и самоуважение...») и др. Конечно, оттенки его будут различны, но общая линия пушкинских размышлений — идея независимости от голоса «черни», от мнения власти — остается неизменной.

В статьях тридцатых годов за фигурой героя — будь то Радищев или Вольтер — узнается и сам автор, встают интересующие его проблемы, личные биографические и творческие аллюзии. Это общая особенность пушкинского восприятия исторических, литературных событий, лиц, явлений, начиная со «Слова о полку Игореве»<sup>12</sup> и кончая современниками. Думается, рассмотренная нами первая часть статьи о Баратынском 1828 г. тяготеет к жанру, который в это время в пушкинском творчестве еще даже не сформировался, — к жанру «историко-литературного эссе, или <...> интерпретации, — жанру, по характеру своему беллетристическому, с очень сильно выраженной собственной трактовкой чужого произведения (или, добавим, чужой судьбы, — А. К.)».<sup>13</sup>

Однако можно ли назвать краткий пушкинский набросок о Баратынском «беллетристическим»? На первый взгляд, кажется, что нет. Но в этом кратком, почти конспективном изложении намечается своя сюжетная линия — история «совершенствования» поэта («Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался...») и следствий этого совершенствования. Это, кстати, общий мотив для всех трех набросков о Баратынском.

У Пушкина была своя концепция развития поэтического таланта как развития постепенного. В 1824 г. он писал о Байроне: «Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились. . .» (XIII, 99). О творческом развитии Баратынского Пушкин был, как это видно из его статьи, иного мнения. Такая «постепенность» была и в нем самом.

Сюжетообразующий — уже иной — мотив звучит, например, и в более поздней (1836) статье «Александр Радищев», несомненно принадлежащей к выделенному С. А. Фомичевым жанру: «Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со

вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу» и т.д. (XII, 34). Мы видим, что у пушкинской документально-художественной прозы свои сюжетные закономерности. Здесь есть мотив, вносящий в публицистическое как будто произведение элемент беллетризации. Мотив этот так или иначе связан с идеей «совершенствования» героя.

Это явление можно увидеть в контексте общего сближения в зрелом творчестве Пушкина художественной и аналитической мысли. Связь эта диалектична и обусловлена общими эстетическими задачами, которые выдвинули перед русской литературой тридцатые годы. Именно в это время появляются, с одной стороны, отмеченные печатью «самосознания» литературы стихотворения Баратынского, с другой — во многом субъективные, обильно снабженные поэтическими эпиграфами первые статьи Белинского. У истоков этого процесса стоит Пушкин, одним из первых (если не первый) почувствовавший необходимость такого сближения. Общую характеристику этой особенности пушкинского творчества дал Ю. Н. Тынянов: «Литературная эволюция, проделанная им (Пушкиным — А. К.), была катастрофической по силе и скорости. Литературная его форма переросла свою функцию, и новая функция изменяла форму. К концу литературной деятельности Пушкин вводил в круг литературы ряды внелитературные (наука и журналистика), ибо для него были узки функции замкнутого литературного ряда. Он перерос их».<sup>14</sup>

Вернемся к статье о Баратынском. Рассуждения о творческой судьбе поэта достигли своей кульминации: «Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее». (XI, 74). «Общая» часть статьи оказалась на этом исчерпанной. Вновь надо было переходить к разбору конкретного поэтического материала. Переход довольно условен: «[Его] последняя поэма „Бал“ <...> подтверждает наше мнение» (XI, 75). Дальнейший разбор уже никак не связан с предыдущими рассуждениями о поэте, его восприятии критикой и т. п. Сам разбор дается автору трудно: общая идея его не вырисовывается, суждения о характере героини, об авторском отношении к ней перемежаются с пересказом. Пушкин, наконец, откладывает перо. Причиной этому, конечно, вовсе не неумение его разбирать стихи — просто он в сущности хотел писать не об этом. К анализу конкретного произведения его привела инерция жанра критической статьи. Поэт еще не осознал, что фактически он пишет уже в другом, новом жанре, где разбирать стихи не требуется.

Любопытно, что Пушкин на деле принял «Бал» не столь безоговорочно, как это может показаться по тексту наброска. В несохранившемся письме его к Баратынскому (1828) содержалось замечание, не вошедшее в набросок статьи. Об этом свидетельствует сам Баратынский в письме к Дельвигу (октябрь — начало ноября 1828 г.): «Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моем „Бале“. Ему, как тебе, не нравится речь мамушки».<sup>15</sup>

В наброске статьи Пушкина интересуют прежде всего характеры героев. Он пишет о Нине, затем об Арсении и как раз в этот момент прекращает работу. Можно предположить, что дальше он должен был перейти к той самой «мамушке» героини, чья речь его не удовлетворила. Но это значило высказывать критические замечания, что едва ли входило в задачу Пушкина. Наверное, не случайно текст обрывается именно в этом месте: Пушкина в данном случае интересуют не те отдельные недостатки, которые он как читатель заметил в поэме Баратынского, а сама фигура поэта и его творческие достижения. С точки зрения традиционной критической статьи, это предвзятость, односторонность; но Пушкин и пишет не критическую статью.

Третий набросок, тоже не имеющий заглавия и начинающийся словами «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов», датируется исследователями различно. В «большом» академическом издании он отнесен к болдинской осени 1830 г. Действительно, набросок отдельными своими мотивами близок, как мы увидим ниже, ряду других болдинских

произведений Пушкина. Датировка Ю. Г. Оксмана в десятитомнике Гослитиздата более осторожна: конец 1830— начало 1831 г. Она основана, с одной стороны, на том, что бумага имеет водяной знак «1830» и, с другой стороны, на том, что Пушкин упоминает только о двух поэмах Баратынского, еще не зная о «Наложнице», увидевшей свет весной 1831 г. (цензурное разрешение 20 марта).<sup>16</sup>

Однако есть основания уточнить датировку. «...Поэма Барат<ынского> чудо» (XIV, 142), — делится Пушкин с Плетневым в письме от 7 января 1831 г. Так можно писать только о новинке, пока неизвестной адресату, т. е. о «Наложнице». Пушкин и Баратынский в это время находились в Москве, и Баратынский, видимо, познакомил Пушкина с поэмой до ее полной публикации. Косвенным подтверждением тому является записка Баратынского к И. В. Киреевскому, условно датируемая декабрем 1830—началом января 1831 г.: «Давно с тобою не виделся от того, что занят был Пушкиным <...> Написал ли ты повесть? моя готова».<sup>17</sup> Если бы Пушкин был знаком с поэмой в момент работы над статьей, он не преминул бы упомянуть о ней как о новинке и стал бы разбирать скорее «Наложницу», чем «Эду», вышедшую в свет уже несколько лет назад. Следовательно, набросок мог появиться не позднее 7 января 1831 г.

В свое время М. Л. Гофман заметил, что в последней статье о Баратынском Пушкин выразил «те же мысли о поэте, обгоняющем свое поколение»,<sup>18</sup> что и в письме самого Баратынского Пушкину (1828). Мнение С. М. Бонди более категорично: Пушкин «использовал» «одно место из письма».<sup>19</sup>

Соглашаясь с исследователями в основном, будем осторожнее со словами. Пушкин едва ли «использовал» письмо Баратынского, тем более если набросок действительно появился в Болдине: не повез же Пушкин с собой письмо двухлетней давности. Идеи, что называется, носились в воздухе и постоянно занимали сознание Пушкина и писателей его круга. Но показателен сам факт, что пушкинские мысли оказываются знакомы нам по письму именно Баратынского и именно к Пушкину. Два поэта близки не только своими творческими судьбами: они и мыслят, и судят об этом сходно.

Безусловно, прав С. М. Бонди, считавший, что Пушкин работает теперь «по тому же плану, что и в 1828 г.: сначала рассуждения о причинах неуспеха Баратынского в публике и критике <...> затем должен был идти разбор поэм его».<sup>20</sup> Идущие вначале общие рассуждения выдержаны в духе прежних набросков о Баратынском. Исходная мысль автора такова: «Первые, юношеские произведения Б<аратынского> были некогда приняты с восторгом. Последние, более зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины» (XI, 185).

Причин, по Пушкину, три:

1) «...самое сие усовершенствование и зрелость его произведений» (XI, 185; ср. в наброске 1828 г.: «...верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность», — XI, 74). Здесь Пушкин дает формулу той ситуации, в которой он сам будет все более и более чувствовать себя в тридцатые годы: мужание таланта, неизбежное отдаление от читателей, уединение, творчество «для себя».

2) «...отсутствие критики и общего мнения» (XI, 185). Точно нащупав большое место современного ему литературного процесса, Пушкин одновременно вкладывает в эти слова глубокий личный смысл. Журналы, которые судят обо всем «по наслышке, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам» (XI, 185; ср. в наброске 1828 г.: «...недобросовестное равнодушие или даже неприязненное расположение», — XI, 74), — эти известные журналы к началу тридцатых годов составили уже вполне оформившуюся оппозицию Пушкину. Личный мотив звучит и в словах: «Б<аратынский> никогда за себя не вступался, не отвечал ни на одну журнальную статью» (XI, 186). В ту же болдин-скую осень Пушкин пишет в полемических заметках «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»: «...в течении 16-ти летней авторской жизни я никогда не отвечал

ни на одну критику...» (XI, 166). Подобные размышления на рубеже двух десятилетий были вызваны условиями обострившейся литературной борьбы. Показательно, что осенью 1830 г. поэт, бывший и без того в близких отношениях с Дельвигом, почувствовал это родство с новой силой, что и выразилось в болдинском стихотворении «Мы рождены, мой брат названный...». Во всяком случае мотив гордого противостояния обоих поэтов «литературному торгу» звучал там отчетливо. Думается, нечто похожее происходит и в отношении Пушкина к Баратынскому.

3) «...эпиграммы Бар<атынского> — сии мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса» (XI, 186; ср. в наброске 1828 г.: «...некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии...», — XI, 74).

Упоминание об эпиграммах Баратынского звучит у Пушкина весьма актуально. «В большинстве эпиграмм, направленных против Булгарина, Каченовского, Надеждина, Полевого, Баратынский защищал позиции поэтов пушкинского круга...».<sup>21</sup> Любопытно, что эпиграмма Баратынского на Булгарина «Журналист Фиглярин и Истина» была написана при участии Пушкина. В том же году Пушкин сочинил совместно с Баратынским эпиграмму «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...».

Пушкин выносит в примечание рассуждение о жанре эпиграммы, сравнивает два типа ее: классическую («словцо, украшенное двумя рифмами»), определенную «законодателем фр<анцузской> пиитики» Буало, и эпиграмму Баратынского, «менее тесную», где «сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический и развивается свободнее, сильнее. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслаждением перечитываем ее как произведение искусства» (XI, 186). Как отмечено в «Путеводителе по Пушкину», в начале творческого пути поэту был свойствен первый тип эпиграммы, построенный «на простой игре слов и традиционных комических положениях. Позднее, около 1825 г., под влиянием Ж. Б. Руссо и русских эпиграмм *Баратынского* (курсив наш, — А. К.) Пушкин меняет свою эпиграмматическую манеру. Вместо коротких эпиграмм, построенных на одном остром слове, Пушкин пишет развитые эпиграммы, содержащие краткое повествование, в которых остроумие заключается в самом рассказе и комическом тоне».<sup>22</sup> Так что достижения Баратынского в жанре эпиграммы оказались созвучны творческому поиску самого Пушкина и даже повлияли на него. Именно поэтому столь пристрастен он в наброске статьи к этому жанру.

Чрезвычайно важен итог этих рассуждений. В одном пушкинском абзаце сходятся многие мотивы его собственного творческого поведения. «Неизменное равнодушие к успеху и похвалам» (XI, 186) отмечает критик в Баратынском, и слова эти вновь напоминают о пушкинских стихах: «Так пускай толпа его бранит...» и т. д. «Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам увлекającego свой век Гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим» (XI, 186). Все в этом фрагменте столь явно «пушкинское», что необходимость в комментировании отпадает. Обратимся лишь к письму Пушкина А. А. Бестужеву (конец мая — начало июня 1825 г.), где Пушкин возражает адресату, считавшему, что поэты в России не получали «ободрения», т. е. государственного, официального признания: «Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: Слава Богу! *Ободрение может оперить только обыкновенные дарования*» (XIII, 178—179; выделено Пушкиным). Здесь сопоставление двух поэтов получает особый смысловой оттенок, впрочем, легко вписывающийся в контекст пушкинских размышлений о Баратынском: независимый поэт, не испытывающий нужды в высочайшем покровительстве.

Последняя фраза этой части наброска опять заставляет вспомнить набросок 1828 г.: «Время ему занять степень, ему принадлежащую, — и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» (XI, 186). В канонических текстах набросков мотив сопоставления Баратынского с Жуковским и Батюшковым появляется впервые. Но еще в автографе рецензии 1827 г. после слов «самым блистательным образом» есть наброски плана: «Соперн<ики>

Бар<атынского> — Батюшк<ов> и Жук<овский> сравн.» (XI, 321). Оказывается, это тоже мотив постоянный; дело лишь в том, что в первом наброске он остался нераскрытым, хотя и был намечен.

Так завершается первая часть статьи, имеющая в подтексте творческую судьбу самого Пушкина.

Сохранился набросок пушкинского послания 1827 г., адресатом которого одно время считался Вяземский. С. М. Бонди обратил внимание на то, что характеристика адресата в стихах напоминает характеристику Баратынского в прозаических набросках о нем и более всего — в третьем.

О ты, который сочетал  
С глубоким чувством вкус толь верный,  
И точный ум, и [слог примерный],  
[О ты, который] избежал  
[Сентиментальности] манерной  
[И в самый легкой <?> мадригал  
Умел]

(III, 85)

Не повторяя наблюдений исследователя,<sup>23</sup> заметим, что мотивы поэтического послания 1827 г. более отчетливо отзовутся не в рецензии того же года, а в двух более поздних набросках. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает постоянство пушкинских размышлений, по своему связывает различные высказывания о Баратынском рубежа двух десятилетий, получающие своеобразный лирический камертон. Тема Баратынского для Пушкина — это еще и тема лирическая, стало быть, очень личная.

В своих «Рассказах о Пушкине» С. П. Шевырев вспоминал, что «про Баратынского стихи при нем (Пушкине, — А. К.) нельзя было и говорить ничего дурного...». Современник поэта объяснял это «особенной страстью Пушкина <...> поощрять и хвалить труды своих близких друзей».<sup>24</sup> Это душевное качество поэта общеизвестно, шевыревское объяснение в какой-то мере справедливо,<sup>25</sup> но, думается, недостаточно. Наверное, дело еще и в том, что все, связанное с Баратынским, принимало для Пушкина особый, личный характер.

По замечанию Ив. Н. Розанова, размышления поэта в третьем наброске статьи о Баратынском текстуально перекликаются с его размышлениями о П. А. Катенине в рецензии 1833 г. на «Сочинения» последнего, а также с отдельными местами «<Путешествия из Москвы в Петербург>» (1833—1835).<sup>26</sup> Болдинский (мы называем его так условно) набросок становится своеобразной творческой лабораторией, где формулируются сквозные для зрелого Пушкина идеи о равнодушии публики к подлинному таланту, о нравах современной журналистики и т. п.

Вернемся к тексту статьи. Далее, как и в прежних набросках, автор обращается к конкретному литературному материалу — на этот раз к «Эде». Здесь аналитическая часть статьи оказалась меньше, чем в наброске 1828 г. Пушкина интересует прежде всего то, «с какой глубиной чувства развита в ней (Эде, — А. К.) женская любовь» (XI, 186—187). Но дальше нескольких фраз дело не идет, работа оставлена на полуслове.

В незавершенном разборе особый интерес представляет для нас его начало: «Перечтите его Эду (которую критики наши нашли ничтожной; ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий)...» (XI, 186). Полемическое замечание Пушкина входит в контекст его более широких размышлений о назначении и содержании искусства. Иные критики требовали и от него назидательности, «морали». Такие требования он иронически отводил — достаточно вспомнить финал болдинской же поэмы «Домик в Коломне». Личный смысл пушкинских слов очевиден и здесь.

Не случайно Пушкин внимателен и к поэтическому воплощению Баратынским психологии



женской любви. Для него это тоже тема близкая — достаточно вспомнить Татьяну из «Онегина» или Марию из «Полтавы».

Композиция наброска здесь, повторим, та же, что и в наброске 1828 г.: «общая» часть и незавершенный разбор. «Общая» часть в обоих случаях (и даже в наброске рецензии 1827 г.) целостна, логична, завершена. Особенно это заметно в последнем тексте, самом развернутом, с подробной аргументацией. Не случайно В. Г. Загвозкина сочла его «более других близким к завершению»,<sup>27</sup> несмотря на то что аналитическая часть как раз скомкана и оставлена в самом начале работы над ней.

#### 4

Ученые по-разному понимают характер взаимосвязи трех пушкинских набросков: «...статья <...> к которой он (Пушкин, — А. К.) обращался трижды», при этом «использовал свои же предыдущие заметки о творчестве Баратынского» (Ю. Г. Оксман);<sup>28</sup> «...он начал новую статью <...> по тому же плану» (С. М. Бонди). Хотя Пушкин каждый раз начинал работу заново, все же думается, что ближе к истине первый автор: три наброска связаны общим кругом идей, общей концепцией, общей логикой и т. д. Налицо даже текстуальная перекличка.

Если от всех трех набросков отсечь разборы, то останутся три завершенных текста, каждый из которых развивает идеи предыдущего. Пушкин вынашивает по сути дела одно эссе и по инерции никак не может избавиться от разборов, в этих случаях ненужных. Поэтому предмет разбора каждый раз меняется в зависимости от повода обращения к фигуре Баратынского (выход в свет сборника или произведения). Да и не в предмете разбора дело. Пушкина интересует судьба Баратынского и собственная судьба.

У Пушкина было свое понимание жанра монографической статьи о писателе. Когда Плетнев опубликовал в «Литературной газете» (1831, 16 января, № 4) посвященную Дельвигу «Некрологию», Пушкин сообщил ему свое мнение об этой публикации: «Твоя статья <...> прекрасна <...> Но надобно подробностей — изложения его (Дельвига, — А. К.) мнений — анекдотов, разбора его стихов etc.» (XIV, 152). По сути дела Пушкин хочет видеть вместо «некрологии» (уместны ли в ней «анекдоты» и даже разбор стихов?) полнокровную статью о поэте — столь глубоко в нем устойчивое представление о жанре. А ведь эти строки написаны уже после наброска «Баратынский принадлежит...». Стало быть, набросок создавался в то время, когда поэт-критик еще держался за привычное для себя понимание статьи, требующей непременно «разборов» или «анекдотов».

В этом смысле любопытно сопоставить пушкинские заметки о Баратынском (любой из набросков) с более поздними (1830-е гг.) заметками его о Дельвиге, где Пушкин попытался реализовать намеченную в письме к Плетневу программу. В разных томах «большого» академического издания напечатаны порознь набросок «Дельвиг» (XI, 273—274) и «<Отрывок из воспоминаний о Дельвиге>» (XII, 338). В первом случае перед нами общие размышления о поэзии Дельвига, о его литературных интересах, творческом складе личности и т. д.; во втором — «анекдоты». Впоследствии два фрагмента печатались вместе. Как бы то ни было творческая мысль автора движется здесь по тому же пути, что и в набросках о Баратынском. «Общая» часть выглядит полностью завершённой, имеет логическую концовку, напоминающую концовки аналогичных текстов о Баратынском: «Но такова участь Дельвига: он не был оценен при раннем появлении на кратком своем поприще; он еще не оценен и теперь, когда покоится в своей безвременной могиле!» (XI, 274). Воспоминания же («анекдоты») о Дельвиге Пушкин лишь начал и прекратил работу в самом ее начале. Если два фрагмента относятся к одному замыслу, то не почувствовать их разнородность автор не мог.

В свое время П. В. Анненков отнес пушкинский (по-видимому, третий) набросок о Баратынском к тем «собственноручным отметкам Пушкина», характер которых «проявляется столь же в их сжатой форме, сколько и в содержании, прямо излагающем одну мысль без отступлений и осмотра ее со всех сторон, как бывает в настоящем критическом разборе. Таков

был вообще способ чтения у Пушкина». Действительно, «настоящего критического разбора» Пушкин не дает ни в одном из трех набросков о Баратынском. Но первый пушкинист ошибался, на наш взгляд, в определении причины такого явления. Он объяснял его особенностями читательской психики поэта; относил многие его работы («<Баратынский>», «Вольтер», «Байрон» и др.) к «непосредственным впечатлениям чтения»; считал, что они возникли, «так сказать, в самом пылу его».<sup>30</sup> Думается, дело здесь в поисках нового жанра, когда привычный стереотип критической статьи как будто и владеет Пушкиным, и в то же время подспудно вытесняется в его сознании жанром историко-литературного или литературно-критического эссе с личностным подтекстом.

Ив. Н. Розанов предполагал, что набросок 1830 г. не закончен потому, что, говоря о причинах охлаждения публики к Баратынскому, «Пушкин почувствовал, что оно применимо и к нему самому, а жаловаться он, конечно, не хотел. Другое дело заступаться за других».<sup>31</sup> Думается, такое объяснение упрощает и даже отчасти искажает ход творческой мысли Пушкина: он «почувствовал» автобиографизм ситуации безусловно не в ходе работы, а брался за перо уже с этим чувством, далеким, кстати, от желания пожаловаться. Главная причина прекращения работы, на наш взгляд, носит эстетический характер и связана с поисками новой жанровой формы, точнее, с тем, что она, эта форма, еще не была найдена Пушкиным в 1830 г. Поэтому трудно согласиться с Ив. Н. Розановым и в том, что во всех трех случаях мы имеем дело с «набросками рецензий на Баратынского»;<sup>32</sup> тем более что сам исследователь аргументировал эту точку зрения по отношению лишь к первому наброску, действительно начатому как рецензия, но в сущности уже содержавшему зерно новой жанровой структуры. Кстати, то же можно сказать и о более поздней рецензии на «Сочинения» Катенина.

Пушкин, может быть, невольно, но «пробивается» к новому жанру. Если о «Бале» во втором наброске им было написано сравнительно много, то об «Эде» в третьем сказано лишь несколько слов. Разбор явно редуцирует. Вернись Пушкин к своему замыслу в четвертый раз, уже в последние годы жизни, — и из-под пера вышла бы статья (эссе), подобная «Александрю Радищеву» или «Вольтеру», где уже не было бы места подробному анализу отдельных произведений.

Но к своему давнему замыслу Пушкин больше не вернулся. Наступившее в тридцатые годы охлаждение в отношениях двух поэтов исследователи резонно относят на счет различия их эстетических и идейных позиций в эти годы. Соответственно исчезла и почва для сопоставления двух поэтических судеб. Может быть, не случайно и современники, чьи высказывания мы приводили в начале статьи, были склонны сопоставлять Пушкина и Баратынского именно в пору их наибольшей близости, в пору возникновения пушкинских набросков — в 1827—1831 гг.

Позже героями пушкинских произведений отмеченного жанра будут лица, уже ставшие историческими, будь то Вольтер или Радищев. Баратынский (как и Дельвиг) — современник Пушкина и его друг. «Историко-литературный» жанр пушкинской прозы прошел сначала через осмысление современных явлений. За этими «близкими» параллелями возникнут позже параллели «далекие», уходящие в другие эпохи и культуры.

<sup>1</sup> См.: Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1931. С. 388 (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6); Бонди С. Статьи Пушкина о Баратынском // Бонди С. Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 115—129; Розанов Ив. Н. Пушкин — рецензент поэтов // Волга. 1974. №6. С. 127—130 (работа написана в 1939-1940 гг.).

<sup>2</sup> См.: Бонди С. Статьи Пушкина о Баратынском. С. 115—129.

<sup>3</sup> См.: Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 72.

<sup>4</sup> Карпов А. А. Эпоха 1830-х годов в письмах Н. М. Языкова // Пушкин: Исследования и

материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 277.

<sup>5</sup> Фризман Л. Г. Творческий путь Баратынского». М. 1966. С. 84. Предполагается, что это не первая попытка Пушкина написать о Баратынском. В одной из пушкинских тетрадей сохранились обрывки листа с отдельными словами, среди которых читается и слово «Эду» (см.: Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 160-161).

<sup>7</sup> Гозенпуд А. А. Из истории литературно-общественной борьбы 20-х— 30-х годов XIX в.: («Борис Годунов» и «Дмитрий Самозванец»)//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 252.

<sup>8</sup> Ф о м и ч е в С. А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. С. 189.

<sup>9</sup> Пушкин высоко отозвался о Баратынском — авторе элегий еще в 1822 г.: «...он пол<о>н истинной элегической поэзии» (XIII, 44).

<sup>10</sup> См. об этом: Мальчукова Т. Г. О жанровых традициях в элегии А. С. Пушкина «Воспоминание» // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1984. С. 20—43.

<sup>11</sup> В ряд пушкинских произведений 1830 г. на тему «личность и народ» ставит эту статью Н. Н. Петрунина, ошибочно, однако, относя ее к 1830 г. (см.: П е т р у н и н а Н. Н. «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 304).

<sup>12</sup> См.: Фомичев С. А. Пушкин и древнерусская литература//Русская литература. 1987. № 1. С. 32—39.

<sup>13</sup> Там же. С. 36.

<sup>14</sup> Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 165.

<sup>15</sup> Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 83.

<sup>16</sup> См.: О к с м а н Ю. Примечания //Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 488.

<sup>17</sup> Баратынский Е.А. Стихотворения; Письма; Воспоминания современников. М., 1987. С. 200. — Л. Б. Модзалевский (см.: Пушкин. Письма. М.; Л., 1935. Т. 3. С. 156) полагал, что в письме Баратынского речь идет именно о «Наложнице». Напротив, С. Г. Бочаров, автор комментария в цитируемом издании сочинений Баратынского (с. 451), считает, что под «повестью» Баратынский подразумевает прозаическое произведение «Перстень». Но даже если это и так, «Наложница» в ту пору тоже была готова.

<sup>18</sup> Гофман М. Л. Баратынский о Пушкине // Пушкин и его современники. СПб., 1913. Вып. 16. С. 148.

<sup>19</sup> Б о н д и С. Статьи Пушкина о Баратынском. С. 122.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Ф р и з м а н Л. Г. Творческий путь Баратынского. С. 52.

<sup>22</sup> Путеводитель по Пушкину. С. 388.

<sup>23</sup> См.: Бонди С. Статьи Пушкина о Баратынском. С. 127—129.

<sup>24</sup> Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 51.

<sup>25</sup> В то же время оно чревато крайностями, от которых не уберется в свое время Б. Садовской, списавший положительный пафос пушкинских оценок Баратынского на счет «благодушия и снисходительности», якобы свойственных «царям и великим поэтам» (Садовской Б. Ледоход. Пг., 1916. С. 108).

<sup>26</sup> См.: Розанов Ив. Н. Пушкин — рецензент поэтов. С. 125. Ср.: М а ш и н с к и й С. Поэзия критической прозы // В мире Пушкина. М., 1974. С. 467.

<sup>27</sup> З а г в о з к и н а В. Г. Баратынский в рисунках Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1980. Л., 1983. С. 44.

<sup>23</sup> Путеводитель по Пушкину. С. 49; О к с м а н Ю. Примечания. С. 488.

*Печатается по: Временник Пушкинской комиссии. Выпуск 24, Л., 1991. С. 162-175*